

Актуальные проблемы исторической науки

© 2010 г. А. Н. МЕДУШЕВСКИЙ*

СТАЛИНИЗМ КАК МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

К завершению научно-издательского проекта

Изучение сталинизма – репрессивной политической системы советского коммунистического режима 1920–1950-х гг. – продолжает оставаться актуальной проблемой научной мысли и общественной дискуссии по таким параметрам как причины возникновения, необходимость и случайность, влияние внешних и внутренних факторов, цена модернизации и масштабы репрессий, альтернативы исторического развития, соотношение ценностных и прагматических оценок. До настоящего времени проблема была (и в существенной мере остается) чрезвычайно политизированной, что затрудняло достижение консенсуса в историографии. Монументальный научно-издательский проект Фонда Первого Президента России Б.Н. Ельцина и издательства «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) «История сталинизма» призван радикально изменить эту ситуацию: «преодолеть стереотипы советского идеологического и политического наследия», без чего «невозможно становление в России цивилизации современного типа». В рамках проекта в 2008–2010 гг. осуществлены перевод, издание и бесплатная рассылка 100 лучших книг российских и зарубежных авторов по истории сталинизма в центральные универсальные и университетские библиотеки страны¹. Книги проекта – своего рода «моментальная фотография» дебатов о сталинизме в мировой историографии – подводят итоги так называемой архивной революции 1990-х гг., предоставляют значительную новую эмпирическую информацию впервые опубликованных документов, позволяют представить различные позиции, сопоставить подходы иностранных и российских исследователей, наметить возможности сбалансированных, а главное, доказательных академических оценок данного явления². Это создает возможность для серьезного теоретического обсуждения проблемы, выхода за рамки известного спора «традиционалистов» (сторонников теории тоталитаризма) и «ревизионистов» (оспаривающих этот тезис), говорить о сталинизме в новой системе аналитических понятий.

В данной статье подведение итогов проекта проводится с позиций когнитивно-информационного метода, представлен анализ политической системы сталинизма, структуры ее информационного ресурса, а также мотивов, положенных ее создателями в основу конструирования принципиально нового социального образования, известного как «советское общество»³. Сталинизм с этих позиций может быть определен как *система, тяготеющая к установлению максимального контроля над информацией в интересах направленного манипулирования человеческими ресурсами*. Ключевыми параметрами анализа при таком подходе становятся: особенности формирования информационной картины мира и параметры ее проектирования; внешние и внутренние сигналы, определившие информационно-коммуникативные процессы в системе на разных этапах ее существования; масштабы, параметры и цели социального конструирования; информационная сегрегация общества как основа манипулирования; конструирование идентич-

* Медушевский Андрей Николаевич, доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала «Российская история».

ности и факторы, определившие выбор на переломных точках; социальная адаптация и рычаги управления мотивацией поведения; норма и девиация в когнитивной адаптации индивида. В этом контексте на базе представленных в проекте материалов обсуждаются дискуссионные проблемы тотальности контроля и границ социального регулирования; террора как ключевого инструмента социальной инженерии; механизмы принятия решений как выражение информационной адекватности системы; динамика системы в сравнительной и функциональной перспективе; представлены размышления о когнитивных основах современного неосталинизма.

Информационная картина мира: структура и параметры социального конструирования

Формирование информационной картины мира предполагает четкое определение границ системы с целью ее внутренней консолидации, распределения ресурсов, иерархии и управления. Сталинизм выступает как выражение социального конструктивизма, который ведет генеалогию от Просвещения и Французской революции XVIII в. Данная идеология, ставшая практическим воплощением идей картезианства и рационализма нового времени, основывалась на механической концепции мира и представлении о возможности его изменения с позиций разума. Конструктивизм достиг наивысшего выражения в ходе русской революции с ее первоначальным стремлением непосредственно установить коммунизм и затем в 1920-х гг., найдя выражение в научных теориях (например, тектологии или экспериментах с мозгом), экономических доктринах (планирование) и авангардистских проектах архитектуры и искусства. Информационно-когнитивный компонент данной программы выражался в представлении о революции как конструировании новой социальной реальности, не считаясь с исторической традицией и ценой вопроса. Метод данного конструирования – законодательное проектирование (и кодификация), осуществляемое фактически абсолютистским государством. Данный подход обусловил масштабы сталинской программы модернизации, логику социальных процессов, их параметры (образцы социального поведения) и итоги.

Масштабы социального конструирования периода революции определялись фантастической идеей построения коммунизма – общества, основанного на коллективной собственности на средства производства, которое, согласно прогнозам К. Маркса, сможет преодолеть все социальные противоречия, когда-либо существовавшие в истории. Идея большевиков – обеспечить мгновенный переход к коммунизму – потерпела сокрушительный крах с экспериментом военного коммунизма. Отказ от этой идеологической конструкции, не реализуемой на практике, стал легитимирующей основой проекта модернизации – перехода от традиционного аграрного общества к индустриальному в 30-х гг. XX в. Ключевыми параметрами модернизации стали: создание новой информационной картины мира и социально-психологической ситуации путем внедрения мобилизационной идеологии, способной контролировать не только социальные, но и когнитивные параметры мотивации человеческого поведения; унификация социальной структуры; подавление социальных и национальных противоречий по тем направлениям, которые могут быть опасны для целей системы; создание политического режима, способного осуществить эти цели вопреки сопротивлению общества и даже части элиты. О масштабах изменения информационной картины мира говорит тот факт, что ее целью стало перереформатирование социума по таким основополагающим координатам как пространство, время и смысл существования индивида.

Пространственное конструирование или «узурпация пространства» выражалось в его сворачивании (были блокированы как минимум три возможности открытия системы для внешнего мира – в условиях экономической либерализации 1920-х гг., антифашистского фронта в конце 1930-х гг., и послевоенного мирного урегулирования после 1945 г.); идеологических представлениях о географических границах системы и их расширении – в таких представлениях как «мировая революция», построение

«социализма в одной стране», стремлении к воссозданию исторических границ Российской империи, концепции «мировой социалистической системы». Смена этих постулатов сопровождалась практическим освоением пространства – изменением коммуникаций по линии представлений о соотношении центра и периферии (которой последовательно оказывались присоединенные государства), использованием пространства для целей режима (в частности, высылка врагов на окраины и в Сибирь как продолжение традиционной практики хозяйственного освоения новых территорий). Пространственное конструирование связано с выстраиванием новой иерархии – доминированием символики режима и новых властителей в социальном ландшафте. Советская иконография фиксировала социальную иерархию в соответствии с новой системой ценностей – отнесение деревни от города, привилегированное место русских по сравнению с нерусскими национальностями, продвинутое положение женщины по сравнению с мужчиной, но самое важное – отделение авангарда (партийных вождей) от массы.

Конструирование времени (или узурпация темпорального пространства) имело целью разрыв исторической преемственности – уничтожение нежелательных воспоминаний или, напротив, восстановление той части этих воспоминаний, которые могли оказаться полезны системе в изменившихся условиях. Ключевое значение имеет конфликтное взаимоотношение между традиционным культурным опытом (живой информацией) и реализацией революционных проектов (фиксированной информацией). Последняя предполагала отчуждение информационного ресурса – вытеснение подлинной исторической памяти – с целью создания иллюзорной картины коммунистического будущего. Данный подход позволяет ответить на вопрос, каким образом различные исторические темпоральности переплетались в советской жизни; какие элементы картины прошлого были отвергнуты режимом, а какие вновь востребованы в настоящем, чтобы тем самым сделать прошлое значимым для будущего. Конструирование «фиктивного прошлого» сталинизмом (как и другими тоталитарными режимами) выражалось в схемах переписывания истории в соответствии с идеологией мировой революции (в 1920-х гг.), а затем укрепления национальной традиции, необходимой для легитимации режима в изменившихся условиях и роста внешней угрозы (в 1930-х гг.). Сталинская «школа фальсификаций», о которой писал еще Л.Д. Троцкий, выражалась в радикальном пересмотре истории революционного движения. Это «присвоение» русской истории режимом достигло кульминации в создании фиктивной истории партии – «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938).

С этих позиций решалась проблема смысла бытия – борьбы за переустройство общества на основе партийных установок. Если другие тоталитарные идеологии Европы (как итальянский фашизм или немецкий национал-социализм, а также их модификации в Иbero-американском мире) заимствовали у традиционных религий стремление объяснить мир с позиций спасения, то большевизм с самого начала отличала агрессивная антирелигиозная направленность⁴. Эта антирелигиозная направленность была в полной мере присуща сталинизму периода его консолидации 1930-х гг. Она сохранялась и в дальнейшем, несмотря на стремление использовать религиозные мотивы и поддержку Церкви для укрепления легитимности режима в период войны и последующее время. С этих позиций интерпретируются отношения сталинского режима и Церкви, как в России, так и странах Центральной и Восточной Европы, где коммунистические режимы рассматривали церковь как главного конкурента в борьбе за власть⁵. Стремление коммунистического режима заменить теистическую картину мира светской выражает масштаб его исторических амбиций – создать невиданную в истории принципиально новую рационалистическую систему ценностей; прагматизм представлений о смысле жизни и смерти, добре и зле, этике и морали, которые поражали иностранных наблюдателей своей инструментальностью; наконец, используемые средства ресоциализации – уничтожения оппонентов, перевоспитания сомневающихся, а в конечном счете – создания «нового человека». Этим объясняется отказ сталинского режима (в отличие от нацистского) от иррациональных стимулов социальной поддержки и обращение пре-

имущественно к дидактическим методам. С этим (а также с неграмотностью подавляющей части населения) связаны использование ключевой для сталинизма метафоры «школы» во всех областях жизни, выраженный дидактический характер праздников, вообще назидательный характер пропаганды и ее визуальных образов и символов.

Тоталитарные режимы являлись «кинценерирующими диктатурами», стремившимися создать телеологическую картину мира как движения из темного прошлого к прекрасному настоящему и светлому будущему. Концентрированное выражение основных направлений социального конструирования представлено в советских праздниках, которые четко отражали социальные, этнические, темпоральные и пространственные иерархии, призванные идеальным образом структурировать социальный корпус советского общества. «Советское праздничное сообщество, – отмечает немецкий исследователь этой проблемы, – представляло собой круг избранных, доступ туда надо было заслужить и еще быть благодарным за принадлежность к нему. Строгое разграничение между теми, кто вхож в этот круг и теми, кто должен оставаться за бортом праздников, проводилось как в 1920-е, так и в 1930-е гг., хотя критерии исключения со временем пересматривались. Участие в советских ритуалах являлось привилегией, визитной карточкой участия или принадлежности к широкому кругу советского общества»⁶. В отличие от мероприятий национал-социалистов, которые проходили в атмосфере духовного опьянения и коллективного экстаза, советские праздники, опираясь на патерналистскую традицию партийного государства, были школой «эмоциональной сдержанности» и дисциплинированного «энтузиазма». Если декларируемая функция советской праздничной культуры – демонстрация достижений режима, то латентная (и более реальная) функция – демонстрация единства, лояльности, принадлежности к избранным, – «ритуал подчинения абсолютной воле власть имущих». Конструкция так называемого нового человека с головой мыслителя и руками рабочего – была метафизическим продуктом идеологии коммунизма, но эффективно использовалась в социальной инженерии и искусстве социалистического реализма в целях самодисциплины масс и их адаптации к новому обществу.

Социальное конструирование – вполне позитивный процесс в условиях модернизации, – оказывается своей противоположностью в том случае, если опирается не на реальное знание, а на его эрзац. Масштабы сталинского конструирования определялись стремлением установить тотальный контроль над индивидом, цель состояла в его полной ресоциализации, а методы определялись стремлением получить послушное орудие диктатуры. Результатами становились отрицание традиционных метафизических основ бытия (отказ от религиозной ценности жизни и смерти), права и справедливости (культ революционного насилия и произвола), утрата смысла жизни (сведенного к выполнению партийных директив), отчуждение индивида (подавление всех прав личности, в том числе на поиск смысла существования), выдвигание на первый план не содержательных, а внешних механических стимулов к развитию (экспансия как форма существования), подмена творческой деятельности имитационной (информационная агрессивность), формирование особых черт массового сознания: фатализм и пассивность, ощущение непредсказуемости, чувство «изумления».

Теоретическую основу сталинской «революции сверху», как ее определил Р. Та-кер⁷, в условиях крушения романтических настроений, составляла новая интерпретация марксизма с позиций «реализма», которая оказалась близка структурам традиционно-архитепического массового сознания и вела не столько к полноценной модернизации, сколько к ретрадиционализации общества⁸. Конструирование «нового человека» шло по устойчивым образцам поведения (фреймам), восходящим к эпохе доиндустриального общества и крепостного права, причем предпочтение отдавалось негативной селекции этих образцов – эксплуатации низменных качеств человеческой природы. Социально поощряемыми становились такие традиционалистские поведенческие установки «повседневного сталинизма» как апатия общества, социальный инфантилизм и отрицание индивидуального вклада (коллективизм общества и патернализм власти), эгоизм и зависть (классовая теория в ее дарвинистической интерпретации), недоверие

к полноценному труду (распределительная система и принудительные субботники); агрессия (уничтожение «кулаков» и «врагов народа»), страх («бдительность» в отношении соседей), поощрение доносов, лицемерие (фальшивый энтузиазм, подкрепленный инсценировками и театральными декорациями идеологических мероприятий)⁹. Вообще не могли быть продуктивны и долговременны формы социализации, основанные на навязываемой маскировке истинных мотивов поведения ложными.

Информационная сегрегация общества как основа социального манипулирования

Социальная мобилизация (и, особенно, манипуляция) возможна только при информационном доминировании тех сил, которые ее осуществляют. Информационный подход позволяет по-новому интерпретировать программу социальной стратификации, реализованную сталинским режимом. Она определялась следующими целями.

Во-первых, введение режима секретности, который был необходим для отделения подлинной информации от мнимой, а также создание особой системы коммуникаций для обмена этой информацией и иерархии допусков к ней внутри бюрократической системы. Режим секретности, особенно усилившийся начиная с 1930-х гг., опирался на дореволюционную конспирологическую теорию В.И. Ленина как идеологический постулат и эффективную практику, положенную в основу Советского государства и затем Коминтерна. Причины введения режима секретности определяются неоднозначно. Одни авторы указывают на спонтанную логику системных параметров, другие – на растущее лицемерие власти, когда прежнее демонстративное применение «революционного насилия» сменилось эвфемизмами и прямым отрицанием (например, в 1933 г. вошло в силу секретное распоряжение Политбюро, запрещавшее публиковать сообщения о расстрелах без специального распоряжения). Третьи связывают режим секретности с личностным фактором – «византийским складом ума» И.В. Сталина.

Секретные коммуникации, подробно описанные в книге Н. Розенфельда – системообразующий компонент системы, позволявшей Сталину иметь больше надежной информации, чем другие, получать ее раньше, осуществлять оперативное реагирование на изменение ситуации. Режим секретности представлял собой систему концентрических кругов, последовательно отсекавших от информационного ресурса различные слои общества – партию от населения, партийное руководство – от рядовых членов партии и, наконец, высшее руководство от руководящего состава вообще. В результате Сталин (через свою секретную канцелярию, где сходились все важнейшие линии коммуникаций) получал существенные информационные преимущества перед прочими структурами. Если остальная часть руководства оставалась в неведении о наиболее чувствительных операциях, то диктатор получал всю полноту реальной информации о положении системы и имел возможность манипулировать этим информационным ресурсом в своих интересах. Система, выстроенная как иерархия противостоящих друг другу секретных служб, включала тайные институты, коммуникации, штаты, секретные способы кодирования и расшифровки, дезинформации, проверки и перепроверки данных, особый документооборот со своими архивами, каналами управления и механизмами отслеживания ситуации¹⁰. Разделение подлинной и имитационной информации и, соответственно, открытых и секретных структур коммуникаций выступало как целенаправленная политика по установлению контроля над обществом. Это предполагало создание огромной машины поддержания режима секретности, которая, хотя и имела некоторые лакуны, способствовала фильтрации информации на всех уровнях социальной пирамиды и вела к максимизации бюрократического контроля. Секретной являлась в первую очередь информация о самих секретных инструкциях, что иногда приводило к недоразумениям. Так, театральное цензурное ведомство Главрепертком и Наркомат просвещения, во главе с А.В. Луначарским, потратили несколько недель на споры по поводу пьесы М. Булгакова «Дни Турбиных», в то время как вопрос уже был решен Политбюро, давшего секретную инструкцию разрешить постановку.

Во-вторых, целенаправленное подавление всех источников информации альтернативных официальным каналам с помощью цензуры. Система всеобщей политической цензуры включала различные формы и методы идеологического и политического контроля – наряду с прямыми функциями подавления мысли (запрет публикации, цензорское вмешательство, отклонение рукописи), применялся весь арсенал средств однопартийной диктатуры – идеологическая, кадровая, издательская, гонорарная политика. Ответ интеллигенции также был различен – от конформизма и самоцензуры до различных форм сопротивления. Исторически сложились следующие виды цензуры: предварительная и последующая, карательная. Долгое время началом советской цензуры считалось 6 июня 1922 г. – дата организации Главлита. Однако, как показано современными исследователями, созданная в 1918 г. военная цензура при Реввоенсовете Республики была наделена и выполняла функции не только военной, но и политической цензуры, контролируя содержание как газет и других периодических изданий, так и телефонных разговоров, телеграфных посланий и др. Факт организации Главлита можно рассматривать не как поворот в отношении идеологии и культуры, а как логическое продолжение политики незаконной власти тоталитарного типа, более всего испытывающей страх перед свободой слова и свободой мысли¹¹. Функции политической цензуры в стране под руководством Агитпропа ЦК ВКП(б) осуществляли Наркомпрос с 1918 г., Госиздат с 1919 г., Главполитпросвет с 1921 г., Главлит с 1922 г., Главрепертком с 1923 г., в том числе наблюдая за содержанием радиовещания. Постановлением ЦК ВКП(б) от 10 января 1927 г. был определен обязательный порядок прохождения всех эфирных материалов через органы Главлита с последующим хранением их в архиве. При этом официально существование цензуры не признавалось: циркуляр Главлита от 1926 г. заявлял, что «в СССР цензуры нет», а ее практическое осуществление велось путем использования эвфемизмов вроде «повышения ответственности руководителей органов печати и проч. за идейно-политический уровень публикуемых материалов и репертуара» (как отмечалось в закрытом постановлении ЦК КПСС от 7 января 1969 г.)¹².

В-третьих, сегментация информационного пространства, как по горизонтали, так и по вертикали. Горизонтальное измерение выражается отношениями режимности – созданием различных информационных режимов, в том числе в юридическом смысле для различных категорий населения. Понятие режима и режимности важно для понимания социальной стратификации и поведения людей в рамках заданной страны, в частности для их самоидентификации. Речь идет о создании особых режимов по географическому признаку («закрытые режимные города»), по производственному признаку («режимные предприятия»), по социальному признаку (кроме бывших заключенных, которым запрещалось проживание в спецрежимных местностях первой и второй категорий, дискриминация распространилась на лиц, ранее не судимых); по признаку обладания специфическими знаниями (ограничения стали распространяться на лиц, впервые въезжавших или возвращавшихся из-за границы), по степени допуска к реальной информации (режимы секретности, допуск в архивы). «Секретность и замкнутость режимов, – констатируют исследователи, – была целенаправленной политикой»¹³. По вертикали сегментация информационного пространства выражалась в разделении общества на группы по линии отношения к секретной информации. Секретность становилась основой самоидентификации социальных групп и выстраивания их отношений друг с другом. Будучи признаком самоидентификации, секретность служила основой социальной стратификации. Все социальные группы в той или иной степени оказывались по разным причинам вынуждены следовать режиму секретности (чекисты, писатели, академические работники, теневые дельцы и проч.).

В-четвертых, мультипликация информационных режимов. В самом СССР к концу его существования режимов оказалось достаточно много, и они стали пересекаться. В Восточной Европе, где было создано несколько кругов информационной блокады, использовали советский опыт ограничения информации. С этой целью была реализована «система запретительно-ограничительных мер: от введения политической цензуры по

типу советского Главлита, ликвидации традиционно существовавших в Восточной Европе культурно-информационных центров, библиотек и институтов западных стран до запрета свободного передвижения иностранных граждан, включая дипломатов, журналистов и пр. Особое значение в осуществлении контроля за информационным полем придавалось, учитывая географическое положение и геополитическую значимость региона, глушению западных радиостанций, пресечению техническими средствами возможностей прослушивания населением радиопередач соседних капиталистических государств, к которым после 1948 г. была отнесена и Югославия». В целом, «компартии стран Восточной Европы стремились воспроизвести советскую модель контроля за информацией и создания информационно закрытого общества»¹⁴.

В-пятых, введение различных степеней интенсивности контроля над информацией. В современных исследованиях показано, каким образом информация собиралась и анализировалась системой; что она определяла для себя как жизненно важную информацию; что представляли собой ее аналитические центры и как осуществлялся подбор экспертов; каким образом происходила верификация информации (проверка ее достоверности с точки зрения пользы для системы). Одним из факторов, затруднявших укоренение сталинской модели в Восточной Европе, стало различие технологических эпох: изоляция от мира в условиях научно-технической революции становилась цивилизационным анахронизмом. «Понятие глухого "железного занавеса", отделившего социалистический лагерь от остального мира, относилось прежде всего к СССР. Для Восточной Европы "занавес" был, скорее, "железной решеткой" с совсем иной степенью проницаемости. Следует также иметь в виду и географический фактор, т.е. сравнительно малую территориальную протяженность региона с запада на восток. Это пространство легко осваивалось западной пропагандой с помощью новейших технических средств, что давало возможность расшатывать идеологические позиции компартий»¹⁵. Для ряда режимов советского образца (Китай, Албания, Румыния, Северная Корея и др.) сталинские технологии сворачивания информации сохранили значение как инструмент борьбы с десталинизацией после XX съезда КПСС¹⁶.

Наконец, прослеживается динамика информационного контроля под воздействием внешних факторов. Лишь под воздействием информационных технологий извне система вынужденно отступала в уровне дезинформации. В этой информационной картине были сферы абсолютной табуизации, составлявшие ядро легитимности советского режима, которые оставались неприкосновенными на протяжении всего советского периода (репрессивная политика Ленина, расстрел царской семьи или преследования Церкви, а позднее Катынь), были сферы, приоткрытые на неформальном уровне, но не признанные официально (нэп как альтернатива коллективизации), наконец, сферы, которые система была готова пересмотреть в рамках стандартной интерпретации (масштабы сталинских репрессий в отношении партийной элиты)¹⁷. Информационная закрытость системы привела к тому, что когда ее тайны были, наконец, открыты (в период правления М.С. Горбачева) это привело к «информационному шоку» общества, его драматическому расколу в отношении истории страны и, в конечном счете, стало одним из определяющих факторов крушения легитимности советского государства¹⁸.

Конструирование социальной идентичности: конфликт идеологии и знания

Конструирование сталинского политического режима, рассматриваемое с позиций информационного подхода, включало центральный конфликт двух форм легитимности – метафизической (идеологической) и рациональной (профессиональной). Это означало острый конфликт партии с экспертным сообществом, опиравшимся на традиционные (дореволюционные) академические традиции сбора, анализа и проверки данных, предназначенных для принятия ответственных политических решений. Победа идеологии над знанием достигалась разными способами. Главный из них – отказ от научных методов познания общества, которые были дискредитированы как «буржуазный объективизм», а их носители подвергнуты репрессиям в ходе специализи-

рованных процессов над «спецами» и чисток (Шахтинский процесс 1928 г. и процесс Промпартии 1930 г.). Среди осужденных таким образом теорий – лучшие достижения российской научной мысли: теория кооперативного строительства А.В. Чаянова, научные методы планирования, теория экономических циклов Н.Д. Кондратьева, который в ходе процесса над ним дал исключительно ясное итоговое описание познавательных и информационных процессов, происходивших в его среде и в среде главных политических деятелей. Особенно показателен конфликт между главным репрессивным ведомством – НКВД и главным аналитическим центром – Статистическим управлением, начавшийся с 1924 г., и завершившийся разгромом последнего в период с 1935 г. по 1939 г. (аппарат Статистического управления был заменен на $\frac{3}{4}$).

Другим способом стал пересмотр классификационных учетных категорий, раскрывающих реальную социальную стратификацию и доступных доказательной эмпирической проверке. При анализе социальной структуры вводились глобальные показатели основных социальных групп, представленные в итоговых таблицах статистического учета, скрывавшие разнородность советского общества, которая частично отражена в сохранении дифференцированной профессиональной номенклатуры как инструмента обработки данных в 1920, 1926, 1937 и 1939 гг. При изучении национальных отношений под давлением политического руководства также вводились очень широкие классификационные сетки, в которых превалировал административный критерий и растворялись особенности этнических категорий. Цель политической корректировки научных критериев классификации состояла при этом в стремлении совместить территориальное деление, институциональные формирования и аналитическую сетку, чему активно противостояли статистики старой школы, привязанные к реальной обстановке и сознававшие сложность перехода от национальной самоидентификации респондента к статистическим обобщениям, а также этнографы и лингвисты, приверженцы традиционной эссенциалистской концепции. Идеологические приоритеты в конечном счете восторжествовали над задачами получения достоверной информации. Если в 1926 г. национальности были сгруппированы в большие этнолингвистические семьи (индоевропейскую, тюркско-монгольскую и т.п.), то в 1939 г. они были сгруппированы по количественному, алфавитному или административному критериям. Будучи раз и навсегда зафиксированы, соответствующие категории продолжали определять действия администраторов даже после утери ими всякой научной обоснованности. Политическое значение этой новой территориально-административной организации было велико, поскольку ее принципы легли в основу крупных статистических операций. «Административная практика взяла в этом верх над научной культурой статистиков»¹⁹.

Наконец, та же цель достигалась прямой фальсификацией статистических данных. Классический пример – Всесоюзная перепись 1937 г. и подведение ее итогов²⁰. Уже на стадии подготовки переписи вопросы, относящиеся к профессиональной деятельности, оказались сведенными к минимуму. Категории социального положения были значительно упрощены, они были сформулированы так, чтобы подчеркнуть единство общества и прогрессивное значение исчезновения всякой социальной дифференциации. Однако и с этими ограничениями полученные результаты оказались идеологически неприемлемыми. 23 сентября 1937 г. ЦК партии аннулировал перепись и принял решение о проведении новой переписи в январе 1939 г. Вопросник 1937 г. подвергся переработке: вопрос о национальной принадлежности был значительно упрощен, вопрос о грамотности был сформулирован так, чтобы в числе грамотных оказалось как можно больше людей; вопрос о вероисповедании был устранил из-за провала антирелигиозной борьбы.

Следствием стала противоречивость подхода к решению проблемы строительства государства. При решении национальной проблемы на практике были представлены две взаимоисключающие стратегии: с одной стороны, реализация положения о праве наций на самоопределение, для чего искусственно внедрялось национальное и даже этническое сознание, создавались национальные языки и проч. с другой – осуществление идеи тотальной централизации и унификации государства, что достигалось с помощью

террора, направленного на уничтожение национальных элит. Эти противоречивые эксперименты по созданию «советского народа», представленные ленинской и сталинской позициями, как показал последующий распад страны, не удалось согласовать до конца существования коммунистического режима²¹. Навязываемая сверху идентификация групп наталкивалась на ускользающую из-под контроля самоидентификацию разных человеческих составляющих этих групп, что вело к атомизации общества: разделенные группы не имели возможности осознать себя единым обществом, а доминирующим стимулом самоидентификации становилась борьба социальных групп за доступ к ресурсам и привилегиям.

Существо проблемы тоталитарной модернизации, следовательно, – конфликт псевдоинформации (мифов) и подлинной информации (профессионализма), идеологии (партийных догм, основанных на вере) и познания (статистики), партии и интеллигенции, идеологов и технократов внутри самого партийно-бюрократического аппарата; номинального и реального права (Конституция 1936 г. и террор); в целом – двумя концепциями решения проблем модернизации – по линии информационно закрытого или открытого общества. Концентрированным выражением этого противоречия становится столкновение двух типов легитимации режима – «священного» и «светского», харизматического и рационального. «Миф о всеведущей партии не мог выдержать проверки суровой реальностью произвольных, безграмотных и незначительных решений»²². Отсюда – специфическая компенсаторная функция института культа личности, которая существенно отличалась от его германского аналога – принципа фюрерства. «В Германии, – отмечает немецкий исследователь, – культ личности фюрера возник вследствие глубокого кризиса парламентской системы и широко распространенной ностальгии по харизматическому герою – «Цезарю», который призван заменить правление безличных структур господством личной воли. В России же возникновение культа личности объясняется кризисом однопартийной диктатуры, которая не смогла выполнить свое обещание немедленно построить «социалистический рай», причем на всей земле, совершив мировую революцию»²³.

Социальная адаптация: рычаги управления мотивацией поведения

Социальная адаптация индивида – направленное создание образцов (паттернов) социального поведения, выстраивание границ между ними, отбор и закрепление в сознании более предпочтительных моделей, наконец, социальная «дрессировка» общества государством – определяются типом общественного устройства, структурой отношений господства и подчинения, выраженных в иерархии информационных коммуникаций. Отношения между классами в сталинском обществе не имели определяющего значения. Главными были отношения с государством, игравшим ключевую роль в мобилизационной экономике. Наиболее близким отечественным историческим аналогом данной системы является русское служилое государство XV–XVII вв., возникшее в процессе борьбы с монголо-татарским игом, и отразившее доминирующие тенденции к унификации общества и централизации управления. Основные черты данного типа государственности, четко выраженные классической государственной школой в лице ее ведущих представителей – Б.Н. Чичерина, С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина, А.Д. Градовского и В.И. Сергеевича, – состояли в особой роли географического фактора («борьба леса со степью» и последовательная хозяйственная колонизация огромной территории); мобилизационном типе экономики и организации вооруженных сил (основанных на жесткой взаимосвязи предоставления земельных ресурсов в обмен на службу), выстраивании зависимости сословной структуры от выполняемых функций («закрепощение и раскрепощение сословий государством»), наконец, ключевой роли деспотической власти в распределении экономических благ, управлении и осуществлении социальной инженерии – радикальных преобразований общественных отношений сверху²⁴.

Этот тип государственности, определявшийся также как «литургическое государство» по аналогии с Византийской империей (М. Вебер), как «азиатский способ производства» (марксистские критики режима) или как «восточная деспотия» по аналогии с азиатскими деспотиями Востока (К. Виттфогель), основывался на феномене «пожирания общества государством», когда их вообще становилось трудно разграничить – феномене, возрожденном к жизни после революции 1917 г. и достигшем пика формы в социально-политической системе сталинизма. Даже те исследователи, которые отрицают определение сталинского государства как тоталитарного и призывают «не демонизировать его», рассматривают эволюцию режима как переход от аграрного деспотизма к бюрократическому абсолютизму и подчеркивают его традиционалистские черты²⁵. В результате огосударствления и централизации экономики в СССР был создан тип хозяйства, основанный на государственной собственности на землю и средства производства, не только отрицавший рыночные отношения и возрождавший натуральный обмен, но и приводивший к ретрадиционализации социальных отношений – созданию квазисословной иерархии социальных слоев, выстраивавшихся по линии доступа к распределительной системе государства. В условиях мобилизационно-распределительной экономики, окончательно утвердившейся с падением нэпа и проведением коллективизации, искусственно поддерживавшей низкий материальный уровень жизни общества на всем протяжении существования советской власти, происходила примитивизация экономического поведения, основным мотивом которого становился поиск допуска к дефицитным ресурсам (очереди и карточки, с одной стороны, борьба со спекуляцией – с другой). Дефицит создавался в сфере производства и управления экономикой, где его источником было отсутствие конкуренции и противозатратных механизмов, но главной причиной являлась общая «слабость материальных стимулов к труду»²⁶.

Рыночные механизмы в аграрных отношениях периода нэпа рассматривались партийной элитой как временная мера переходного периода, допущенная под контролем государства, политика которого, в конечном счете, привела к экономическому кризису и сделала альтернативу курсу на сталинскую коллективизацию невозможной²⁷. Мотивация труда через зарплату имела в распределительной экономике достаточно ограниченный характер и преследовала цели мобилизации людских ресурсов²⁸. Ключевым экономическим фактором мотивации социального поведения для основной массы населения следует признать голод или его угрозу. Реконструкция истории голода 1930-х гг., его масштабов, развития и жертв позволяет уверенно констатировать отсутствие предпосылок (как экономических, так и природных) его неизбежности и связывает его возникновение с политическими факторами – настоящей войной сталинской администрации с собственным населением²⁹. Даже те авторы, которые рассматривают голод как неизбежные издержки модернизации, состоявшей в переходе от аграрной к индустриальной экономике, признают что «впервые в истории России в 1932–33 гг. голод не был вызван естественными причинами»³⁰. В действиях власти присутствовал сознательный мотив наказания казаков и крестьян за их сопротивление хлебозаготовкам и колхозам в 1932 г. и, следовательно, голод с позиций бихевиоризма можно интерпретировать как «дрессировку» крестьян партией, заинтересованной в форсировании индустриализации за счет аграрного сектора. Дисциплина, подчинение, зависимость становились средствами идентификации личности с коллективом в рамках закрытой информационной системы и создания атмосферы псевдотворческой активности.

Принципиальным отличием советского государства от традиционной модели служилого государства является, однако, значение информационного фактора – технологий и коммуникаций, недоступных деспотиям прошлого, и способных осуществлять социальное регулирование, манипулирование и подавление в качественно больших исторических масштабах. В экономике это распределение дефицита, в политике – власти, в конфигурации общества – создание системы контроля над индивидом по всем возможным параметрам. Универсальность социального проектирования в мобилизационном типе экономики возможна при наличии ряда предпосылок: абсолютности информации, тотальности контроля, существовании единого плана и свободы в примене-

нии насилия для перемещения человеческих ресурсов, выступающих исключительно в функции «трудовых ресурсов».

Эти цели достигались созданием такой системы учета и контроля, которая соединяла все принципиальные информационные параметры – место, время, экономический, социальный и правовой статус. Переписи населения, паспортная система и прописка, узаконенные в 1932–1933 гг., существовавшие в царской империи, приобрели форму новых учреждений, действовавших в соответствии с политическими и социальными планами режима. Режим целенаправленно формирует такую организацию общества, которая обеспечивает управление людьми при помощи контроля за их основополагающими потребностями, передвижением и изменением социального положения. Институциональное выражение данного принципа находит в колхозах, сохранивших определенную преемственность к традиционной крестьянской общине, упраздненной в 1930 г., в качестве структуры, выступавшей посредником в отношениях крестьян с государством; в жилищном контроле (замена кооперативов и товариществ домовыми комитетами); контроле на предприятиях и учреждениях (отделы кадров); общем политическом контроле (партийные ячейки, создаваемые по производственному принципу). Основа всех этих форм контроля – отчуждение собственности у населения (земли – у крестьян, заводов – у производственных коллективов, жилья – у жителей домов) и установление жесткого распоряжения бюрократии над перераспределением имущества через различные типы регистрации. Контроль над собственностью и имуществом со стороны государства давал огромную (в идеале тотальную) власть над личностью – тот ресурс, который мог быть использован как для экономической мобилизации, так и для репрессий.

Констатируем соединение, наподобие служилого государства, социальных структур и выполняемых ими функций. Эта цель достигалась слиянием различных видов контроля воедино: введение паспортов в 1932 г. и института жилищной прописки было дополнено введением трудовых книжек в 1938 г., что позволяло вести борьбу с «текучестью кадров», т.е. закреплять индивидов на определенной территории и рабочих местах. Ключевое значение в этой конструкции приобретало жилище, которым индивид не мог распоряжаться по своему усмотрению (купить, продать, самостоятельно построить, своевольно обменять, самостоятельно сдать в аренду и т.п.), и которое, в силу этого становилось фактором, определяющим сознание и поведение человека, степень его зависимости от государства и основным инструментом властного управления людьми. «Эта привязка, через жилище (одновременно обеспечивающая контроль за перемещением людей), – отмечает исследователь проблемы, – намертво прикрепляет людей к месту работы. Причем население привязывается к производству в количестве, исключающем избыток (либо недостаток) рабочей силы и, следовательно, конкуренцию, безработицу или недоукомплектованность рабочих мест»³¹.

Следует подчеркнуть введение, также в традициях служилого государства, круговой поруки – фактически системы заложников, в рамках которой за нелояльное поведение индивида несли ответственность трудовой коллектив, профсоюзный и партийный комитеты, а главное семья и родственники провинившегося. В рамках этой системы арест любого человека, независимо от его социального статуса и предшествующих заслуг, автоматически вел к социальному ostracismu и лишению всех благ не только для него самого, но и для членов семьи, которые должны были опасаться лишения жизни, свободы и выселения из жилища.

Контроль и принуждение: формы выживания в советской системе

Поскольку механизм управления социальной адаптацией не включал экономических стимулов рыночного характера, главным инструментом ее осуществления становилось принуждение, которое выступало в виде прямого насилия или его символического эквивалента. Все общество, в стиле коммунистической утопии Фурье, строилось как казарма или тюрьма, где различные типы заключенных имели особый режим содер-

жания, а главной привилегией становилось право на жизнь в борьбе за существование. Этот механизм включал разделение общества на две основных категории – первая категория, так называемых советских людей, конструировалась как конформистская опора режима и подлежала социальной адаптации на новых основаниях; вторая, определявшаяся общим понятием «антисоветские элементы» или «враги народа», была признана неспособной к адаптации и подлежала уничтожению (такими группами в разное время становились буржуазия, зажиточное крестьянство, интеллигенция, национальные меньшинства и вообще различные маргинальные элементы, по тем или иным причинам выпадавшие из официально утвержденной классификационной сетки). Уничтожение данной категории лиц производилось двумя способами – прямой одномоментной физической ликвидацией или ликвидацией, растянутой во времени с целью использования их как бесплатной рабочей силы (высылка сотен тысяч крестьянских семей на спецпоселения ГУЛАГа и масштабное использование их труда в ходе так называемого социалистического раскрестьянивания)³².

Вопрос об экономической рациональности принудительного труда заключенных схематично представлен тремя основными точками зрения. Одна заключается в определенном отрицании такой рациональности – утверждении о том, что ГУЛАГ был вызван к жизни не экономическими причинами, но целями физического истребления мнимых и истинных оппозиционеров. Вся экономика ГУЛАГа была убыточна и нанесла огромный вред развитию страны, поскольку уничтожала людей в невиданных размерах, отторгала механизацию производства и рациональное использование профессиональных кадров. «Именно физическое уничтожение "врагов", а не их использование в качестве "дешевой" рабочей силы было, – согласно данной интерпретации, – главной целью "большого террора"»³³. Иначе говоря, «неэффективность и некомпетентность рабочей силы ГУЛАГа означали, что стандарты принудительного труда оставались низкими», что говорит о его «невысокой производительности»³⁴. Другая точка зрения может быть определена как теория «рациональности особого типа». Она состоит в том, что рациональность принудительного труда ГУЛАГа определялась вовсе не традиционными показателями экономической рентабельности, а общими системными параметрами и теми задачами, которые система ставила для себя как приоритетные. «Экономическое поведение государства, – с позиций данного подхода, – теряет рациональность: главным требованием к предприятиям и целым отраслям становится не достижение рентабельности, а выполнение планов в кратчайшие сроки при ограниченном количестве ресурсов. В рамках такой модели эффективными становятся хозяйственные структуры, способные быстро сконцентрировать ресурсы на определенных объектах. Утверждение таких основ социально-экономической политики способствовало превращению в хозяйственное ведомство ОГПУ, распоряжавшееся огромными подневольными, а следовательно, мобильными людскими ресурсами»³⁵. Этот ресурс бесплатной рабочей силы включал различные категории населения, принуждаемого к рабскому труду полицейскими методами: заключенных, спецпереселенцев, трудармейцев, узников фильтрационных лагерей, военнопленных и интернированных³⁶. К этой позиции примыкает тезис о том, что лагерь ГУЛАГа следует рассматривать как «форпосты колонизации»³⁷. Третья точка зрения рассматривает экономические функции лагерей в эволюционной перспективе как некоторую саморегуляцию: система принудительного труда претерпела определенные изменения в направлении большей рациональности. Стало очевидно, что «с одной стороны, даже в тех предельных условиях принуждения, какие существовали в сталинских лагерях, организация сколько-нибудь эффективного труда заключенных требовала введения своеобразной системы стимулирования. С другой стороны, должно было пройти достаточно долгое время для осознания этой проблемы администрацией лагерной системы и высшим политическим руководством»³⁸. Проводится выявление влияния условий труда, быта и питания заключенных на их смертность, а также динамики этих показателей во времени³⁹. Очевидно, что эта дискуссия, аналогичная той, которая велась о нацистских лагерях смерти, основана на различных трактовках репрессивного механизма, напоминающих криминологические теории преступления:

для одних сталинские лагеря – результат сознательного преступления коммунистического режима, стремившегося таким путем реализовать утопическую социальную программу; для других – следствие безжалостных исторических обстоятельств, вынудивших власть прибегнуть к масштабному применению насилия и рабского труда; для третьих – результат непродуманной экономической импровизации в использовании рабского труда, связанной с недостатком хозяйственного опыта политического руководства и самих тюремщиков.

Если под этим углом зрения рассматривать партийно-государственное управление, то оно представляется вполне регрессивным феноменом, основанным на различии «словий», причем режимность выступает возвращением к имперскому (или даже более раннему доимперскому) способу управления. Поскольку экономические стимулы рыночного типа не могли получить развития в системе контроля и планирования, на первый план выдвигались бюрократическая иерархия, выслуга, доносы и взаимная слежка. Исполнители-управленцы, подчиненные – все понимали режим как синоним порядка. Сильная власть (режим) отстаивалась в ущерб рациональной, что способствовало конверсии политической власти в экономическую⁴⁰. Как в царской империи, так и в советской действовала система привилегий и ограничений, выступавшая регулятором мотивации поведения на всех уровнях – от колымского лагеря до Кремля. В условиях экономики дефицита материальное стимулирование могло идти только по линии создания привилегий – своеобразного возрождения системы служилых сословий, различавшихся по их месту в создаваемой и поддерживаемой государством иерархии привилегий. Анализ экономической системы сталинизма включает рассмотрение разработанной шкалы привилегий, охватывающих все социальные группы и выстроенной как пирамида, вершина которой состояла из партийной номенклатуры. Это позволило сравнить советскую распределительную систему со средневековой «системой кормлений»⁴¹.

В какой мере результаты данной социальной адаптации соответствовали изначальному замыслу? Антропологический взгляд на полученный продукт – «советского человека» – показывает его кардинальное отличие от выстраиваемого системой идеального образа «нового человека». Возник, несомненно, психологически ущербный социальный тип, основной мотив поведения которого определяется как стремление к выживанию в биологическом смысле: «Бывало, – пишет Ш. Фицпатрик, – что в жизни советских людей происходили страшные вещи, бывало, что ее одушевляли прекрасные мечты, но в основном это были тяжкие, однообразные будни с бесконечными трудностями и дефицитом. Homo sovieticus дергал за нужные ниточки, проворачивал всякие махинации, угодничал, нахлебничал, кричал лозунги и т.д. и т.п. Но прежде всего он боролся за выживание»⁴².

Норма и девиация: двоемыслие как основной когнитивный закон социализма

Для социологической интерпретации общества принципиальное значение имеет установленная в нем система норм и санкций за их нарушение. Именно общество выстраивает систему оценки поведения, определяя одни его стереотипы как норму (конформное поведение), другие – как девиацию (отклоняющееся поведение), третьи – как преступление (уголовно наказуемое поведение). Меняющийся характер соотношения нормы и девиации в истории связан прежде всего с изменением ценностных ориентиров общества, а также направленными усилиями политической власти по закреплению в праве и социальной жизни определенных желательных моделей – стандартов (или фреймов) поощряемого или подавляемого поведения.

Как и другие тоталитарные системы, сталинский режим являлся «инсценирующей диктатурой», искусственно создававшей видимость социальной гармонии и правовой легитимности. Формирование этой диктатуры предполагало, с одной стороны, определенную (чисто формальную) правовую легитимность, с другой – действие неформальных норм, централизацию власти и установление такого контроля над обществом,

который по своей интенсивности превышал традиционные абсолютистские монархии и ни в коей мере не был ограничен правом. В условиях большевистской революции девиация сама стала нормой поведения, привела к превращению подпольной субкультуры революционной организации в официальное право и установлению доминирования неформальных криминальных норм над формальными правовыми. Решение проблемы согласования формальных и реальных норм поведения было найдено в феномене номинального конституционализма. Провозглашение сталинской Конституции 1936 г., осуществленное в разгар Большого террора, выполняло именно эту функцию: оно было нужно, во-первых, для обмана зарубежного общественного мнения, во-вторых, для обеспечения новой легитимации режима как «правового»; в-третьих, как символический шаг, направленный на отвлечение внимания от реальной практики режима⁴³. В целом номинальный конституционализм не только камуфлировал социальную реальность однопартийной диктатуры, но и сыграл определенную роль в легитимации репрессий. Этим объясняется кажущееся противоречие юридической системы сталинизма – сочетание внесудебных расправ с оппозицией с формальной борьбой за укрепление так называемой социалистической законности. «Реорганизация органов юстиции, произошедшая в середине и в конце 30-х гг., – отмечает исследователь, – на самом деле подняла на новый уровень степень централизации власти в области юстиции. Таким же образом поощрение слугителей Фемиды к получению юридического образования, наделение их новым статусом должно было создать более конформистский контроль судей, прокуроров и следователей в отдаленной временной перспективе»⁴⁴.

С этих позиций актуальна дискутируемая проблема сопротивления режиму. Одна группа исследователей отрицает сам факт существования сопротивления сталинскому режиму. Действительно, если понимать под сопротивлением осознанные действия, планомерно осуществляемые определенной социальной группой для целенаправленной реализации альтернативного социального проекта, то следует признать, что сталинский режим эффективно подавлял эти намерения на начальной стадии. Нельзя, поэтому, говорить о сопротивлении режиму со стороны народных масс, для которых бунт или выражение активного несогласия являлись скорее проявлением непонимания сталинской политики, нежели ее осознанным отторжением: «Называть сопротивлением эти действия, – полагают сторонники данной позиции, – значит приписывать им измерение, которого они в действительности не имели»⁴⁵. Данный тезис подкрепляется результатами новейших эмпирических исследований: не может быть и речи о каком-либо систематическом сопротивлении тирану со стороны советской правящей элиты; даже в рядах Красной армии исследователям не удалось найти никаких следов организованного сопротивления; более того, многие партийные деятели, администраторы и военачальники принимали активное участие в сталинских репрессиях против своих многолетних соратников и друзей.

Другая группа исследователей, напротив, считает возможным говорить о существовании мощного сопротивления режиму, различая его активные и пассивные формы. Активные формы социального протеста, – полагают они, – были представлены в период Гражданской войны крестьянскими повстанческими движениями против военно-коммунистической диктатуры большевиков⁴⁶. Они продолжены фактической гражданской войной между городом и деревней в период коллективизации и формирования однопартийной диктатуры (конец 1920-х – начало 1930-х гг.)⁴⁷. Эти активные формы протеста были основаны на существовании различных информационных картин мира и выражались в крестьянских восстаниях, рабочих забастовках, политических акциях внесистемной и внутрисистемной оппозиции. С этих позиций выдвигается тезис о существовании двух форм большевизма, одна из которых тяготела к поддержке стихийных форм крестьянского демократизма, в то время как другая (сталинистская) – выступала за применение репрессий к массам для достижения целей мобилизационной экономики⁴⁸. Доказательством существования сопротивления сталинскому режиму выступает для сторонников данной точки зрения сам масштаб репрессий, которые могут быть определены как профилактика борьбы с реальной и потенциальной оппозицией.

Это подтверждается также системными тенденциями режима: 20 лет сталинской социальной инженерии – от начала 1930-х до середины 1950-х гг. – привели страну не к стабильности, а к «общественному хаосу». В этом смысле система, созданная в 1930-х гг., лишь оттянула выражение протеста: привела к ожесточению и массовым беспорядкам 1950–1960-х гг.⁴⁹ Кризис коммунистической системы вне СССР вел к массовым движениям протеста против сталинской системы в Венгрии в 1956 г. и Чехословакии в 1968 г., подавление которых способствовало усилению репрессий внутри страны⁵⁰. Другая форма сопротивления определяется как «пассивное» или «скрытое»: оно выражалось в демонстративном отказе населения от участия в символических пропагандистских акциях режима, а также в использовании легитимных способов выражения несогласия. В советской системе определенные возможности для этого давала общая атмосфера социальной демагогии, позволявшая легитимно обращаться с «жалобами» на непосредственное начальство в вышестоящие или советские инстанции, например, направлять делегации колхозников к секретарям райкомов и председателям райисполкомов с просьбой оказать помощь. Эти формы «пассивного» сопротивления напоминают традиционные для российского крестьянства «монархические иллюзии» – сознательную апелляцию к высшей власти для осуждения или пересмотра действий местных властей.

С позиций информационной теории существо политической девиации выражается в конфликте социальной и когнитивной адаптации. Первая предстает скорее как внешнее, механическое приспособление индивида к враждебной социальной среде в рамках тех мотивов, которые были рассмотрены выше. Сопротивление навязываемым стереотипам социальной адаптации выражается в открытых акциях гражданского неповиновения – бунтах, выступлениях протеста или, как минимум, публичной критике режима. Консолидация сталинского режима сделала эти формы протеста невозможными. Когнитивная адаптация, напротив, предполагает осмысление ситуации и навыки критического анализа поступающей информации. Существо когнитивной адаптации – поиск (осознанный или нет) подлинной информации как способа ориентации в обществе и адекватного постижения смысла. Данный поиск выражался в смене социально-психологических представлений – настроений и политических эмоций – с изменениями политического режима⁵¹. Принципиальная и неразрешимая проблема режима заключалась, однако, в том, что понимание подлинного механизма действия системы приводило индивида к конфликту с псевдоинформационной основой его существования и делало невозможным социальную адаптацию в имитационных формах. Индивид сталкивался с жестким выбором: отвергнуть имитационные правила системы или следовать им, несмотря на их абсурдность. Первый вариант поведения как настоящее «горе от ума» представлен «пассивным сопротивлением» – отказом от участия в легитимирующих и символических акциях, таких как «обсуждение» новой Конституции, торжественное вручение акта на вечное пользование землей, уклонение от «выборов» в советы и, особенно, в так называемых антисоветских разговорах⁵². Этот вариант поведения тщательно документировался карательными органами. Сокращенное название коммунистической партии в 1930-х гг. – ВКП(б) – инакомыслящие расшифровывали как «второе крепостное право (большевик)», название СССР читалось как «Смерть Сталина спасет Россию», а само ОГПУ расшифровывали как «О, Господи! Помогите убежать», или (если читать справа налево) – «Убежишь – поймают, голову отрубят». Другой вариант – приспособление к законам системы во имя простого выживания или эффективной социальной адаптации. Это отражено в распространенных поговорках: «слово – не воробей: вылетит, не поймаешь»; «молчание – золото» и проч.⁵³ Девиация – все, что связано с ситуацией информационного магнетизма (поиском новой информации, альтернативной официальной и способной раскрыть реальный смысл происходящего). Девиацией признается сам факт обращения к неконтролируемым информационным ресурсам (сохранение или копирование старых книг, слушание иностранного радио, разговоры на запрещенные темы).

Фреймы системного и антисистемного поведения, их формирование и селекция (позитивная и негативная) выражаются в поведенческих установках, знаках и символах⁵⁴. Типология моделей поведения и личного информационного выбора включала различные модели, от информационного конформизма до агрессивности, а также их гибридные варианты. Социализация при социализме – школа конформизма. Она включает публичные покаяния, театрализованные раскаяния в ошибках, коллективное осуждение и проч. Примером выступает так называемое партийное расследование, которое оказывается выстроенным по канону средневековой мистерии: «Участники скрыты под масками праведников и грешников. Первые – суть воплощение благодати. Они очищены от всех земных забот и привязанностей. Вторые олицетворяют пороки. Одни наделены правом обличать. Другим следует каяться. Поступки и тех и других в равной степени подчинены ритуалу. Здесь нет места профанным рассуждениям, житейской прозе»⁵⁵.

Критерий выживания, а тем более успеха, в данной системе определялся уровнем социального лицемерия – способности индивида, формально следуя декларируемым нормам, на деле выстраивать свое поведение в соответствии с неписаными законами системы. Отсюда берет начало известное психологическое явление – «двоемыслие» как основной когнитивный закон социализма. Данное понятие, введенное Дж. Оруэллом, выражает способность индивида существовать в двух параллельных мирах – имитационной и реальной информации и вовремя переходить из одного в другой при меняющихся обстоятельствах с целью элементарного выживания в советском обществе. Эта ситуация делала особенно актуальной проблему выбора, воплощенную в такой центральной категории этической мотивации поведения как «совесть»⁵⁶. Двоемыслие при Сталине стало основой существования и когнитивной адаптации просто потому, что отказ от него означал смерть или, в лучшем случае, социальный остракизм. Только позднее диссидентское движение сформулировало основной тренд борьбы с системой – сознательный отказ от двоемыслия и демонстративное выполнение ее декларируемых норм, что само по себе выступало как девиация или преступление.

Террор как инструмент социальной инженерии

Ключевым инструментом сталинской социальной инженерии стал Большой террор 1937–1938 гг. Несмотря на систематическое обращение к этой проблеме зарубежных исследователей, начиная с Р. Конквиста (Н. Верт, А. Гатти, Р. Дэвис, Р. Маннинг, Т. Мартин, С. Уайкрофт)⁵⁷ и ее разработку в российской историографии (где данная тема возникла после XX съезда, но впервые стала предметом научных исследований лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг.)⁵⁸, представленные интерпретации далеки от единства.

Их систематизация позволяет выявить следующие позиции. Первая позиция (психологическая) определяет Большой террор как «социальную патологию», которая, впрочем, в рамках этого подхода «не имеет полностью удовлетворительного объяснения»⁵⁹. Возможность и реальность террора была обусловлена социально-психологическим состоянием населения, для большей части которого он выступал как стихийное бедствие, наподобие «Смутного времени», которое «надо было просто перетерпеть». Согласно позиции так называемых ревизионистов, бросивших вызов «традиционалистской» школе, Сталин осуществлял лишь ограниченный уровень контроля над обществом, террор 1930-х гг. не определялся исключительно политическими причинами и не планировался сверху, а ключевую роль играли не указания из центра, а местные силы, наконец, его масштабы не были столь значительны, как утверждали «традиционалисты». Причина террора – страх, который был более или менее мотивирован реальными причинами (почти фрейдистское объяснение). Вторая позиция (институциональная) видит смысл террора в целенаправленном уничтожении Сталиным системы неформальных социальных институтов и связей, замене ее формальной бюрократической субординацией, вообще – стремлении «подорвать любые связи взаимной подде-

ржи»⁶⁰. Для этого криминализировались (объявлялись уголовно наказуемыми) все потенциально возможные неформальные отношения между людьми. Несмотря на то, что эта тенденция имела место с 1917 г., ее радикальное усиление наступило в период между 1928 и 1935 гг., а затем было продолжено во время Большого террора 1937–1938 гг. Данный режим был репрессивным в отношении всех социальных слоев, но основной удар он наносил по интеллигенции как социальной силе, способной системно осмыслить ситуацию и выступить в качестве организованной оппозиции. Третья позиция (функциональный подход) исходит из интерпретации сталинского режима в контексте процессов социальной мобилизации, определившей функции террора в отношении общества и природу политической власти⁶¹. Ключевую роль в утверждении режима играла практика насилия (репрессии, массовые депортации, принудительный труд), которая осуществлялась методами чрезвычайного управления, определив масштабы террора и его функции, взаимодействие институтов диктатуры (партия, ведомства, карательные органы), соотношение политического радикализма и «умеренности»⁶². Четвертая позиция (социологическая) выдвигает на первый план технологию власти: Большой террор преследовал цель осуществить переход от «коллективного руководства» Политбюро к установлению абсолютной единоличной власти, порывая со всем тем, что прямо или косвенно вело к отклонению от нее. Смысл Большого террора, следовательно, заключался в том, чтобы целенаправленно ликвидировать потенциальную оппозицию, поставить своих людей на ключевые должности и укрепить личную власть⁶³. Пятая позиция выдвигает на первый план фактор личности – образ мыслей и подозрительность диктатора. Следуя собственной интерпретации марксизма, он считал террор продолжением классовой борьбы и эффективной социальной профилактикой⁶⁴. Сталин только тогда считал свой режим стабильным и надежным, когда никто из правящей верхушки, включая его ближайших соратников, не чувствовал себя защищенным. Суть созданной им системы заключалась в организованном недоверии как к тем, кого контролировали (подавленное общество), так и к тем, кто контролировал – партийному аппарату. В этом недоверии усматриваются истоки репрессий против коммунистической элиты, составлявшей основу данной системы. Шестая позиция (многофакторный анализ) видит причины террора в сочетании внутренних и внешних факторов – стремлении подавить сопротивление потенциально оппозиционных элитных групп (в центре и на местах, в армии и госаппарате) в условиях внешней политической угрозы, дополненное действием ряда психологических причин и проч. Наконец, седьмая позиция – представляет собой отказ от рационального объяснения данного феномена: Большой террор – это «чудо», необъяснимое явление. Уничтожение сталинским режимом своей главной политической опоры – советской элиты, стоявшей у власти – «удивительнейший феномен Новейшей истории». Как мотивы организаторов Большого террора, так и поведение его жертв остаются для этих исследователей «загадкой», тем более что «границы между жертвами и палачами зачастую стирались»⁶⁵.

Изучение механизма репрессий 1936–1938 гг. выявляет определенные противоречия. Прежде всего, вопрос о том, откуда взялся сам замысел Большого террора: был ли он «национальным продуктом» (опирался на богатый большевистский опыт расправ с врагами) или являлся продуктом заимствования (использование опыта Гитлера по организации «ночи длинных ножей»); был начат под влиянием внешнего фактора (угрозы войны) или скорее внутренних факторов (поскольку накануне Большого террора не существовало угрозы непосредственного военного нападения на СССР). Далее, какова была институциональная основа террора: если для большинства исследователей инициатором террора являлись органы государственной безопасности, то для других это утверждение представляется «глубоко ошибочным», поскольку в ходе репрессий «сложилось тесное единство в действиях партийных и карательных органов»⁶⁶. Наконец, развивался террор, будучи раз начат, стихийно в виде импровизации или, напротив, осуществлялся планомерно и постоянно находился под жестким контролем Сталина? И каким образом вообще, – ставят вопрос некоторые исследователи, – можно провести

границу между террором и другими формами насилия, составлявшего суть сталинской системы управления?

По своим направлениям государственное насилие подразделяется на общее (основанное на подавлении населения в рамках неразграниченности политического и гражданского полицейского контроля), превентивное (направленное на социальные слои или группы, способные представить потенциальную угрозу режиму) и исключительное (связанное с нейтрализацией социальных групп и индивидов, которые мешают режиму реализовать свои цели в данный момент). Таким образом, в разные периоды масштабы и направления террора могли быть различны – охватывали все общество или различные социальные группы. Единственное, что, по-видимому, не вызывает сомнений – это определяющая роль самого Сталина и главного карательного ведомства страны – ГУГБ НКВД СССР в организации массовых репрессий. Становится понятна и категория инициаторов репрессий, а также их исполнителей: это маргинальные элементы, лишённые устойчивых социальных связей, но вписанные в сетевые отношения секретных коммуникаций. Ключевой фигурой, осуществлявшей связь между ними, выступает Н. Ежов – «большевистский Марат, фанатичный и кровожадный палач, который не знал, как остановить "чистки", на совести которого было бесчисленное множество жертв, который никого не щадил, даже своих знакомых и близких»⁶⁷. Жажда убийства сочеталась в нем с паранойей (шпиономанией), ненавистью к культуре и интеллигенции. Тем не менее он не может рассматриваться в качестве самостоятельной фигуры, поскольку «был прежде всего продуктом сталинской тоталитарной, террористической и бюрократической системы», вся его деятельность во время Большого террора «тщательно контролировалась и направлялась Сталиным», который лично утверждал списки номенклатуры, предназначенной к истреблению, наконец, дал санкцию на арест и ликвидацию Ежова.

С позиций информационной парадигмы суть террора может быть объяснена как целенаправленное преодоление разрыва социальной и когнитивной адаптации по следующим параметрам: унификация информационного пространства и создание закрытого общества – информационной резервации для всего общества и выделение особого слоя лиц, обладающих информационными преимуществами для принятия решений (новой элиты). Важными направлениями реструктуризации информационной картины в ходе различных волн террора стали замена прежней системы коммуникаций (неформальных связей) новой, построенной по принципу вертикального обмена информационными потоками; введение новой иерархии по линии доступа к информационному ресурсу системы; установление более жесткого контроля и управления информационным ресурсом, а главное – конструирование и фиксация в общественном сознании нового смысла на когнитивном уровне. Важнейшим элементом этого плана стало уничтожение тех групп, которые потенциально могли оспаривать монополию диктатора на информационный и управленческий ресурс. Наконец, сам метод проведения репрессий можно идентифицировать как «информационный шок», направленный на дезориентацию существующей элиты.

Этот подход объясняет ряд основных параметров Большого террора. Во-первых, его четкую организацию, что исключает тезис о стихийности (он начался и закончился в определенное время). Массовый террор 1937–1938 гг. был целенаправленной операцией, спланированной в масштабах государства и осуществлявшейся под личным контролем Сталина⁶⁸. Чистка проводилась под контролем и по инициативе высшего руководства, что не исключало инициативы на местах, которая, однако, соответствовала сути приказов из центра. Окончание террора также было сигнализировано сверху – постановлением ЦК и СНК «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», утвержденным на Политбюро 17 ноября 1938 г. Главными категориями репрессированных были партийные, государственные и военные деятели.

Во-вторых, становится более понятна логика карательных акций, направленных на группы носителей такой информации, которая потенциально могла быть использована против режима. В разное время они включали зажиточное крестьянство и образован-

ный средний класс, представителей внесистемной оппозиции режиму – политических партий, отстаивавших иную информационную картину мира; внутрипартийных оппозиций, связанных с альтернативными схемами передачи и распространения информации; прежнего партийного руководства – старых членов партии и руководителей ЦК большевиков, помнивших историю формирования секретных коммуникаций; командный состав армии, разведки, самой госбезопасности, знавших скрытые механизмы функционирования режима. Особую репресслируемую категорию составляли группы, связанные с иностранной культурой (как сотрудники Коминтерна и члены иностранных компартий)⁶⁹ или способные, в силу национального происхождения оказаться нелояльными режиму при изменении политической обстановки. С этим были связаны преследования евреев, особенно после создания государства Израиль⁷⁰. Объектом преследования по этим параметрам становились вообще иностранцы: немцы, репрессии которых осуществлялись как в связи с войной⁷¹, так и в связи с общим подозрением в политической неблагонадежности (судьба немецких коммунистов, эмигрировавших в СССР)⁷², итальянцы (как политэмигранты-социалисты, так и люди, находившиеся вне политики)⁷³, поляки⁷⁴, прибалты после присоединения государств Балтии⁷⁵, эмигранты, вернувшиеся из Харбина, или, наконец, лица, имевшие контакты с иностранцами (включая узников немецких концлагерей и военнопленных). В этом контексте важны современные исследования о терроре на региональном и провинциальном уровне⁷⁶. Расширив географию изучения террора, они выявили сходство методов его проведения и основных целевых групп, объединенных понятием «антисоветских элементов» – зажиточных крестьян (кулаков), старорежимной интеллигенции, политических деятелей оппозиционных партий, лиц, связанных с границей («шпионов»), «ненадежных» представителей региональной партийной бюрократии, а также различных криминальных элементов⁷⁷. Эта логика включала депортации неблагонадежных элементов из приграничных регионов, заключение в лагеря жен осужденных «изменников родины», членов иностранных коммунистических партий, депортации националистов, троцкистов, «буржуазных» интеллигентов.

В-третьих, можно констатировать создание определенной матрицы террора, которая затем обрабатывалась в других регионах мира. В Восточной Европе в начале 1950-х гг. акции, направленные на устрашение, приобрели «характер политического террора, осуществляемого государственной властью». В ходе этого террора «целенаправленно изолировались от общества представители прежней политической элиты – бывшие социал-демократы, носители либеральной-демократической и крестьянской альтернатив коммунистическому варианту развития», а сами компартии превратились в «тоталитарные организации с лидером-вождем»⁷⁸. Данная модель последовательно воспроизводилась во всех странах коммунистического лагеря – Китае, Албании, Северной Корее и др. Наконец, исследователи констатируют попытку Сталина вновь использовать данную матрицу террора накануне своей смерти, что, возможно, и стало причиной его устранения соратниками: «Ясно, – полагает один из них, – что незадолго до смерти Сталин разрабатывал новую версию старого сценария 1936–1938 годов»⁷⁹.

Для объяснения террора важна информационная логика сталинских политических процессов. Первый их тип представлен процессами против научной интеллигенции и имел целью установить господство идеологии над профессиональным знанием. На Шахтинском процессе (1928) и процессе «Промпартии» (1930) инженеры и прочие «буржуазные спецы» обвинялись во вредительстве, саботаже и контрреволюционном сговоре с иностранными державами. Второй тип процессов («московские процессы») эпохи Большого террора) имел целью подавление альтернативных политических групп и информационных коммуникаций внутри партии – процесс Зиновьева–Каменева в 1936 г., процесс Пятакова в 1937 г. и процесс Бухарина в 1938 г. Третий тип процессов (против руководства Красной армии) включал обвинение в организации сети индивидуальных связей и отношений (любой неформальный кружок дружеского или профессионального характера), за которой теоретически могла угадываться попытка государственного переворота.

При изучении сталинских политических процессов важно разграничить их имитационные и реальные цели, а также различать явную функцию (устрашение населения) и латентную. Отличить имитационную информационную цель от подлинной было дано не всем интеллектуалам. Так, например, И. Бабель распознал лживость процессов, а Л. Фейхтвангер – нет. В своей книге, возможно, написанной в противовес Нюрнбергским законам, он утверждал, что Сталин не был человеком с обманчивой внешностью, показательные процессы – не свидетельствовали о мстительности и властолюбии, а обвиняемые – действительно виновны⁸⁰. Что касается различия явной и латентной функции процессов, то последняя, как отмечают некоторые исследователи, имела едва ли не сакральный характер и состояла в укреплении власти кровавой круговой порукой и публичным принесением жертв. Становится понятно, для чего нужна была режиссура и театрализация – для закрепления знаков и образов, маркирующих информационное пространство в сознании, установления действенного «когнитивного контроля» диктатуры над обществом.

Тотальность контроля и границы социального регулирования

Понятие тотальности контроля, ранее казавшееся незыблемым применительно к сталинскому режиму (в рамках теории тоталитаризма), начинает подвергаться сомнению в современной литературе. Представлены следующие основные концепции: одна, ставшая «традиционной», отстаивает абсолютность контроля и управления социальной реальностью, другая, представленная «ревизионистами», – говорит об их отсутствии. Согласно первой, сталинизм вообще может быть определен как высшее выражение социальной инженерии, осуществляемой в глобальных масштабах вне каких-либо моральных и этических ограничений. «Сталин, – согласно данной позиции, – доказал на практике, в рамках одной страны, возможность управляемой, т.е. плано-предсказуемой и инженерно-сконструированной жизни человечества», а если бы он достиг мирового господства, то «история человечества впервые стала бы при нем управляема»⁸¹.

Другая концепция отрицает тотальность контроля и существование указанных предпосылок. «История сталинского периода предстает, – согласно данной точке зрения, – как процесс постоянной "подгонки" и "отладки" в условиях отсутствия у Сталина определенного предварительного замысла». Сталин, как паук, находясь в центре паутины, следит за малейшим ее колебанием и моментально реагирует на него. Он играет центральную роль, но вместе с тем «принимает решения и совершает действия, не следуя заранее определенной логике, а реагируя на ситуации, которые он считает неблагоприятными, на возникающие конфликты и противоречия. Речь идет скорее о логике решений и действий шаг за шагом, чем о прямолинейном, четко определенном и непротиворечивом замысле»⁸².

Ключевой элемент данной концепции – отрицание планомерности экономических и социальных изменений, рассмотрение их как спонтанной реакции на внешние системные вызовы или даже как чистой импровизации. Поставив вопрос о том «были ли советская экономика плановой?», современные исследователи отвечают на него отрицательно: «Процесс планирования был хаотичен и непрозрачен». Система была устроена так, чтобы избегать появления «окончательных» планов. Все планы, вплоть до конца планируемого периода, квартала или года, назывались «предварительными». Твердого фундамента для оперативной деятельности предприятий «попросту не существовало». Следовательно, «советская экономика вообще не была плановой»⁸³. Вывод об отсутствии научного планирования экстраполируется на все стороны социальной реальности и государственного управления, в котором подчеркиваются элементы иррациональности.

Третья концепция, основанная на теории рационального выбора, пересматривает проблему тотальности контроля, но при этом ближе всего подходит к объяснению причин дисфункции сталинского режима, используя когнитивно-информационные подхо-

ды. Вопрос, что понимать под концепцией контроля, должен быть переформулирован в коммуникативных параметрах: с одной стороны, Сталин, безусловно, достиг высокой степени контроля, если речь идет об укреплении его лидерства и личного доминирования в принятии решений. Находясь в позиции относительного информационного преимущества перед обществом и властными структурами, Сталин действительно достиг существенного уровня «когнитивного контроля» над обществом⁸⁴. С другой стороны, ситуация не выглядит столь простой, если речь идет об обладании им реальной информацией, поступающей с низших уровней управленческой иерархии, поскольку он не мог контролировать весь партийный аппарат и осуществлять проверку исполнения всех решений. Можно поэтому предположить с существенной долей вероятности, что многие политические решения принимались на неопределенной основе. Выдвигается модель «дилеммы диктатора»: чем больше его власть и степень контроля над обществом (формальное подчинение которого достигается путем репрессий), тем меньше объем реального информационного ресурса, которым он располагает для эффективного управления. В результате при внешней абсолютности власти, подкрепляемой страхом, он в действительности не обладает полнотой информации о том, «какие группы действительно поддерживают его, какие только претворяются, а какие активно, но секретно замышляют его свержение»⁸⁵. Другая сторона этого противоречия – проблематичность тотальности контроля по линии центр-периферия. Поскольку советская система управления была «персоналистской» и «вотчинной», региональные власти контролировали поток информации, скрывая от центра местные проблемы и недостатки.

Наконец, следует подчеркнуть, что теоретический принцип, лежавший в основе конструирования системы контроля и управления, оказался совершенно ложным. Существование административно-командной системы 1917–1985 гг. покоилось на презумпции преимущества «плановой» системы над «стихией рынка». Насилие и принуждение оправдывались тем, что они якобы обеспечивают рациональное распределение ресурсов. Несмотря на значительное количество экспериментов, эта система оставалась после Сталина практически неизменной, а ликвидация ее опорных институтов при Горбачеве привела к краху системы. Пределы сталинского тоталитаризма, следовательно, определялись ограниченностью информационных ресурсов и неспособностью к быстрой переработке огромного объема данных для принятия эффективных решений.

Механизмы принятия решений как выражение информационной адекватности системы

С этих позиций актуальна дискуссия о закономерности установления сталинского режима и пределах власти диктатора и его окружения в определении стратегии и тактики его развития: решал ли он все проблемы сам или скорее выступал медиатором между различными группировками. Согласно одному подходу, основанному на теории тоталитарных систем, отстаивается закономерность диктатуры и появления тоталитарного лидерства. П. Грегори утверждает, что «большевистская партия, претензии которой на власть не встретили серьезного отпора, не имела иного выбора, кроме создания тоталитарной системы. Партийные принципы предусматривали планирование, государственную собственность и первоначальное накопление капитала». Административная система, основанная на таком принципе, как считал Ф. Хайек, «неизменно порождает фигуру, подобную Сталину». В известном смысле это объяснение напоминает логический круг: система имела такое лидерство, так как оно лучше подходило к системе. Система могла теоретически реформировать себя, но не делала этого – почему? Дело, вероятно, не только в идеологическом гипнозе, но и в том, что система была выстроена для войны, а не мира в обществе потребления и имела поэтому другой тип рациональности и мотивации.

Другой подход, инспирированный, вероятно, теорией игр, утверждает, что границы выбора определялись не столько общими факторами развития системы, сколько

меняющимся набором вызовов и правил игры. На этом основана концепция «слабого диктатора», дебаты по которой концентрировались именно на вопросе о том, каким образом происходила выработка политических решений Сталиным в сравнении с другими диктаторами. Согласно теории «слабого диктатора» он выступает едва ли не как заложник обстоятельств: сила вызова его власти определяла силу ответа, причем террор оказался единственным способом сохранения системы от распада. Согласно критикам этой теории, Сталин был настоящим диктатором, жажда власти составляла доминирующий мотив его деятельности; его террор был более методичным, чем у Гитлера, носил не последующий, а упреждающий характер, в результате чего к середине 1930-х гг. был создан режим, подавлявший не только реальную, но и потенциально возможную оппозицию. Столкновение номенклатурных кланов не предполагало медиации, но определялось феноменом нулевой суммы. Это отражено в конфликтах внутри региональной номенклатуры, копировавшей в этом отношении старших товарищей: «Это всегда война на уничтожение, которая, тем не менее, ведется по правилам, согласно тщательно разработанным ритуалам. В них обязательно присутствует апелляция к высшему авторитету, заверения в личной и групповой бескорыстности, жонглирование идеологическими формулами. Приемы едины для всех. Каждый участник поединка использует их, не обращая внимания на степень соответствия традициям и нормам морали. Все схватки происходят в особом этическом поле с новыми нравственными ориентирами. Так, донос на противника не считается низким делом... Все или почти все сражаются за доступ к властным ресурсам, которые в равной степени обеспечивают как экономические преимущества, так и символические знаки престижа»⁸⁶. Двор «красного монарха» играл в игры и использовал методы, известные со времен Борджиа и Медичи, но делал это более добросовестно⁸⁷.

Компромиссный подход к решению данной проблемы, исходя из теории рационального выбора, объясняет, почему сделанный выбор не может быть признан рациональным. В сталинском государстве структура управления представляла собой пирамиду многочисленных диктаторов разного уровня, отношения между которыми напоминали патронажно-клиентарные связи в традиционном обществе. Данная система «иерархической диктатуры» (nested dictatorship) включала такие механизмы, как «делегирование полномочий, различия в целях и неравномерное распределение информации между начальством и подчиненными». Таким образом, «иерархическая диктатура представляла собой поле битвы между начальством и подчиненными, в которой начальник (диктатор) применял силу и принуждение по отношению к своим подчиненным, чтобы ограничить их оппортунистическое поведение»⁸⁸.

Основное противоречие системы состояло в следующем: с одной стороны, множество полномочий по принятию решений о распределении ресурсов было передано на нижние этажи системы на усмотрение экономических агентов, склонных к оппортунистическому поведению; с другой, по мере централизации власти, ответственность за решение простых вопросов, которые ранее рассматривались на местах, передавалась во все более и более высокие инстанции. «Проклятие диктатора» заключалось в том, что его помощники, облеченные властью принимать решения по всем возможным вопросам, на практике старались принимать как можно меньше решений, что сводило к минимуму их риски. Рациональным оказывалось экономически и политически нерациональное поведение, а максимизация контроля вела к дисфункции системы управления. Этот вывод объясняет негибкость системы в кризисных точках и ее провалы там, где необходимо было быстрое принятие решений в области внутренней или внешней политики, например, в период начала войны с Гитлером⁸⁹. При решении вопросов подбора экономических и дипломатических кадров не профессионализм, а лояльность диктатору становилась фактором принципиального значения⁹⁰. В системе, где диктатор должен был решать все вопросы, трудно становилось избежать перегрузки, отделить главное от несущественного, своевременно реагировать на изменение ситуации. Проблема «принципал–агент» в отношениях между диктатором и подчиненными не имела решения. Сталин, следовательно, не только не мог выступать как арбитр между груп-

пами влияния, но и быть эффективным менеджером: его рабочая неделя была «перегружена бессмысленной деятельностью», а механизм управления и контроля мало чем отличался от боссов мафии того же времени⁹¹. Это вело к информационной неадекватности и параличу системы, неизбежности ее коллапса.

Динамика системы в сравнительной и функциональной перспективе: сталинизм как социальная аномалия

Современное состояние научной разработки сталинизма позволяет выйти за рамки эмоциональных оценок или традиционных историографических схем, наподобие спора «тоталитаристов» и «ревизионистов». С позиций когнитивно-информационной теории удастся объяснить смысл системы и представить его в виде взаимосвязанных аналитических понятий. Сталинизм – это реализованный продукт целенаправленного социального конструирования, основанного на ложных когнитивных предпосылках. Позиционируя себя как научную теорию социальных преобразований, сталинизм (как и вообще коммунистическое учение) опирался на совокупность идеологических догматов, отстаивавших иллюзорную картину мира. Стремясь реализовать эту программу, сталинизм предпринял масштабное социальное конструирование, основанное на насилии и терроре и направленное на тотальную перестройку сознания индивида и общества по таким системообразующим параметрам, как пространство, время, смысл существования. Отношение к итогам этого конструирования, его руководителям и жертвам породило глубокий раскол в обществе и историографии, не преодоленный до настоящего времени⁹².

Рассматривая социальное конструирование как вполне естественный вызов эпохи модернизации, следует признать, что его сталинистская интерпретация была обречена на провал в силу заложенных в ней когнитивных предпосылок. Та модель общества, которая могла возникнуть (и отчасти была создана) в результате ее реализации имела принципиальный дефект – была сконструирована и поддерживалась исключительно механическим путем (в результате принуждения), не содержала внутренних импульсов развития, более того, включала механизм торможения и негативной социальной селекции. Поэтому она могла существовать только ограниченное (по историческим масштабам) время и поддерживаться при наличии ряда предпосылок. Важнейшей из них была информационная сегрегация общества, при которой все оно разделялось на резервации, режимы и страты по линии доступа к подлинной информации, причем этот доступ имел тенденцию постоянного сужения во времени. Процесс сворачивания общественного плюрализма и разнообразия форм выражения мысли четко коррелировался с процессом ограничения информационного пространства. Вся схема могла работать только при нескольких фундаментальных допущениях: закрытый характер общества и информационной картины мира; полный контроль над ней в руках элиты; существование информационного дуализма (подлинная информация – для элиты, мнимая – для общества); функционирование системы имитационных институтов и соответствующей системы социализации и когнитивной адаптации индивидов; постоянные репрессии для поддержания их существования.

Социальная адаптация включает вполне традиционный набор инструментов, важнейшими из которых оказываются идеологически детерминированная мотивация, экономическое принуждение и внеэкономическое принуждение – рабский труд в лагерях, соответствующее распределение наказаний и поощрений для фиксации режимов социальной иерархии и системы ценностей. Сложнее обстоит дело с когнитивной адаптацией – мерой осознания смысла происходящих процессов человеческим мышлением. Трудность изучения подобных тоталитарных систем с позиции теории рационального выбора очень показательна. Возникает принципиальный вопрос: какое поведение является рациональным в системе, построенной на тотально иррациональной основе? Ошибочным является поведение, которое следует декларированным нормам и ценностям системы (и опирается на соответствующий имитационный информационный ре-

сурс), поскольку ведет к утрате реальных социальных ориентиров. Ошибочным является, однако, и то поведение, которое однозначно опирается на реальные принципы существования системы и предполагает знание скрытых информационных механизмов управления, поскольку разрушает имитационный информационный ресурс, – неписанные правила, на которых стоит вся система.

Выходом из когнитивного тупика становится поведение, основанное на феномене двоемыслия – смене стереотипов поведения в зависимости от ситуации обращения к имитационному или реальному информационному ресурсу. Норма и девиация в искривленном информационном пространстве меняются местами. Преступление становится нормой, а отказ от участия в нем – преступлением. Эта ситуация закрепляется с помощью террора – чрезвычайного применения насилия к реальным и потенциальным оппонентам системы с целью установления монопольного контроля над информационным пространством, «когнитивного доминирования» и осуществления направленной социальной инженерии.

Антисистемными параметрами выступает все, что противоречит навязанной информационной монополии: стремление к открытию общества как в пространственном, так и во временном отношении (желание сравнивать, размышлять, путешествовать); покушение на официальную информационную картину мира (от слушания радио до чтения «вредных» книг); попытки преодоления информационного дуализма и поиска подлинной информации (проникнуть в спецхран, скопировать запрещенную книгу, поговорить с инакомыслящим); сознательное неучастие в имитационных акциях (праздниках и демонстрациях); новые формы социальной и когнитивной адаптации (что определялось впоследствии как «неформальное» поведение), отрицание языка (семантики) и символики поведенческих стереотипов («умники», «стиляги» и проч.), маргинализация интеллигенции (уход в идеологически нейтральные сферы познания – «профессионализм» или частную жизнь), со временем – отказ от подчинения неписаным (но реальным) законам системы и, напротив, демонстративное стремление жить по ее писанным (но вполне имитационным) законам, а в конечном счете – высмеивание «священных» советских символов социальной адаптации.

Деформированное информационно-коммуникативное пространство ведет к искаженной картине мира и коллапсу эффективного управления. Современные исследователи, труды которых были опубликованы в анализируемой серии издательства РОССПЭН, наглядно показали, что из себя представляет конечный продукт сталинской инженерии, насколько целенаправленно он создавался и, соответственно, насколько гибка была система на разных этапах. Тупик наступает, когда система перестает различать подлинную и мнимую информацию. В результате, чем больших успехов достигает она в контроле и подавлении, тем меньше становится ее информационная адекватность, предсказуемость и управленческая эффективность.

Сталинизм выступает, несомненно, как отклонение от нормы, если под нормой понимать опыт западных демократий Нового и Новейшего времени, – одна из форм социальных аномалий, хотя история знала, конечно, и другие. Аномалия (*греч.* *anomalía*) – это «отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность». В медицинском смысле – «структурные или функциональные отклонения организма, обусловленные нарушениями эмбрионального развития». Резко выраженные аномалии называют «пораками развития, уродствами»⁹³. Социальные аномалии, вообще, возникают естественно, но не перестают быть от этого отклонением от нормы в историческом процессе человечества. В быстрой динамике социального развития системы подобного типа демонстрируют неспособность к когнитивному повороту и перестройке в изменившемся мире, что ведет их к гибели. Выдающееся место сталинизма в коллекции социальных монстров вполне соответствует его исторической неповоротливости, примитивной жестокости и общему деструктивному потенциалу.

Примечания

- ¹ Научно-издательский проект Фонда Первого Президента России Б.Н. Ельцина и издательства «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) «История сталинизма» (М., 2009).
- ² *Медушевский А.Н.* История сталинизма: итоги и проблемы изучения // *Российская история*. 2009. № 5. С. 189–196.
- ³ *Медушевский А.Н.* Когнитивно-информационная теория как новая парадигма в гуманитарном познании // *Вопросы философии*. 2009. № 10. С. 70–92.
- ⁴ *Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления.* М., 1996.
- ⁵ *Волокитина Т., Мурашко Г., Носкова А.* Москва и Восточная Европа. Власть и Церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов XX века. М., 2008.
- ⁶ *Рольф М.* Советские массовые праздники. М., 2009. С. 162–169.
- ⁷ *Tucker R.C.* Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928–1941. N.Y., 1990.
- ⁸ *Левада Ю.* Сталинские альтернативы // *Осмыслить культ Сталина.* М., 1989. С. 449.
- ⁹ Этот набор поведенческих стереотипов представлен в книгах: *Фицпатрик Ш.* Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2008; *ее же.* Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 30-е годы: деревня. М., 2008.
- ¹⁰ *Rosenfeldt N.E.* The «Special» World: Stalin's Power Apparatus and the Soviet System's Secret Structures of Communication. Vol. 1–2. Copenhagen, 2009.
- ¹¹ *Горяева Т.* Политическая цензура в СССР 1917–1991. М., 2009. См. также: *Блюм А.В.* Советская цензура в эпоху тотального террора. СПб., 2000.
- ¹² *Горяева Т.* Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920–1930-х годах. Документальная история. М., 2009. С. 23–27, 74–75.
- ¹³ *Режимные люди в СССР.* М., 2009. С. 349.
- ¹⁴ *Волокитина Т., Мурашко Г., Носкова А., Покивайлова Т.* Москва и Восточная Европа: Становление политических режимов советского типа (1949–1953). Очерк истории. М., 2008. С. 663.
- ¹⁵ Там же. С. 668.
- ¹⁶ *Ланьков А.* Август, 1956 год. Кризис в Северной Корее. М., 2009.
- ¹⁷ О процессе раскрытия этих табуизированных зон в российской историографии см.: *История и сталинизм.* М., 1991; *Трудные вопросы истории.* М., 1991; *Они не молчали.* М., 1991.
- ¹⁸ Этот процесс документирован в историко-публицистической литературе 1990-х гг. См.: *Осмыслить культ Сталина.* М., 1989; *Переписка на исторические темы.* М., 1989; *История и сталинизм.* М., 1991.
- ¹⁹ *Блюм А., Меспуле М.* Бюрократическая анархия: Статистика и власть при Сталине. М., 2008. С. 202–216.
- ²⁰ *Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги.* М., 1991; *Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги.* М., 1992.
- ²¹ *Каррер Д'Анкокс Э.* Ленин. М., 2008.
- ²² *Грегори П.* Политическая экономия сталинизма. М., 2008. С. 337.
- ²³ *Люкс Л.* История России и Советского Союза от Ленина до Сталина. М., 2009. С. 285.
- ²⁴ *Государственная школа русской историографии // Общественная мысль России XVIII – начала XX века.* М., 2006. С. 117–119.
- ²⁵ *Левин М.* Советский век. М., 2008.
- ²⁶ *Осокина Е.* За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 2008. С. 311. См также: *Осокина Е.* Золото для индустриализации: Торгсин. М., 2009.
- ²⁷ *Есиков С.А.* Российская деревня в годы нэпа: К вопросу об альтернативах сталинской коллективизации. М., 2010.
- ²⁸ *Ильюхов А.А.* Как платили большевики: Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917–1941 гг. М., 2010.
- ²⁹ *Ивницкий Н.А.* Голод 1932–1933 годов в СССР. М., 2009.
- ³⁰ *Кондрашин В.* Голод 1932–1933 годов: Трагедия российской деревни. М., 2008. С. 369–379.
- ³¹ *Меерович М.* Наказание жилищем: Жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917–1937 годы). М., 2008. С. 196–197, 295.
- ³² *Красильников С.* Серп и Молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М., 2008.

- ³³ ГУЛАГ. Экономика принудительного труда. М., 2008. С. 82–89.
- ³⁴ Там же. С. 264.
- ³⁵ Там же. С. 276.
- ³⁶ Сулов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929–1953 гг.). М., 2010.
- ³⁷ ГУЛАГ. Экономика принудительного труда. С. 21.
- ³⁸ Там же. С. 238.
- ³⁹ Нахапетов Б.А. Очерки истории санитарной службы ГУЛАГа. М., 2009.
- ⁴⁰ Режимные люди в СССР. С. 354–355.
- ⁴¹ Кондратьева Т. Кормить и править. О власти в России XVI–XX вв. М., 2009.
- ⁴² Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм... С. 272.
- ⁴³ О природе номинального права см.: Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998.
- ⁴⁴ Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М., 2008. С. 150.
- ⁴⁵ Блюм А., Меспуле М. Указ. соч. С. 266.
- ⁴⁶ Кондрашин В.В. Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма. М., 2009.
- ⁴⁷ Виола А. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления. М., 2009.
- ⁴⁸ Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933. М., 2008.
- ⁴⁹ Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.). М., 2009.
- ⁵⁰ Чехословацкий кризис 1967–1969 гг. в документах ЦК КПСС. М., 2010.
- ⁵¹ Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России. М., 2010.
- ⁵² Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм... С. 214–218.
- ⁵³ Многочисленные примеры подобных суждений см. в секретных донесениях: «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране. Т. 1–8. М., 2000–2008.
- ⁵⁴ Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М., 2004.
- ⁵⁵ Лейбович О. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. М., 2008. С. 252–253.
- ⁵⁶ Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. М., 2010.
- ⁵⁷ Conquest R. The Great Terror. A Reassessment. L., 1990; Getty J.A. The Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. Cambridge, 1985; Stalinist Terror. New Perspectives. Cambridge, 1993; Stalin's Terror. High Politics and Mass Repression in the Soviet Union. Basingstoke, 2003.
- ⁵⁸ См., напр.: Павлова И.В. Сталинизм. Становление механизма власти. Новосибирск, 1993.
- ⁵⁹ Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм... С. 230.
- ⁶⁰ Блюм А., Меспуле М. Указ. соч. С.150.
- ⁶¹ Красильников С.А. Указ. соч.
- ⁶² Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010.
- ⁶³ Хлевнюк О. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996. С. 188, 192.
- ⁶⁴ Лева Х.Д. Сталин. М., 2009.
- ⁶⁵ Люкс Л. История России и Советского Союза от Ленина до Сталина. М., 2009. С. 249.
- ⁶⁶ Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 2009. С. 328.
- ⁶⁷ Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. М., 2008. С. 219–223.
- ⁶⁸ Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. С. 450.
- ⁶⁹ Ватлин А. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. М., 2009.
- ⁷⁰ Люстигер А. Сталин и евреи. Трагическая история Еврейского антифашистского комитета и советских евреев. М., 2008; Костырченко Г. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М., 2009.
- ⁷¹ Белковец Л. Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 1941–1955 гг. Историко-правовое положение. М., 2008.
- ⁷² Сталин и немцы: Новые исследования / Под ред. Ю. Царуски. М., 2009.
- ⁷³ Дундович Е., Гори Ф. Итальянцы в сталинских лагерях. М., 2009.
- ⁷⁴ Яжборовская И.С., Яблоков А.Ю., Парсаданова В.С. Каатынский синдром в советско-польских и российско-польских отношениях. М., 2009. См. также: Лебедева Н. Катынь. Преступление против человечества. М., 1994.
- ⁷⁵ Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М., 2008.

- ⁷⁶ Сталинизм в советской провинции 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447. М., 2010.
- ⁷⁷ «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. / Отв. ред. О.Л. Лейбович. М., 2009; Массовые репрессии в Алтайском крае 1937–1938 гг. Приказ № 00447. М., 2010.
- ⁷⁸ Волокитина Т., Мурашко Г., Носкова А., Покивайлова Т. Указ. соч. С. 663–664.
- ⁷⁹ Люкс Л. История России и Советского Союза от Ленина до Сталина. М., 2009. С. 369.
- ⁸⁰ Крумм Р. Исаак Бабель. Биография. М., 2008. С. 162.
- ⁸¹ Илизаров Б.С. Тайная жизнь Сталина. М., 2002. С. 187.
- ⁸² Блюм А., Меспуле М. Указ. соч. С. 273.
- ⁸³ Грегори П. С.266–267.
- ⁸⁴ Rosenfeldt N.E. Op. cit.
- ⁸⁵ Мюллер Д. Общественный выбор. М., 2007. С. 550–551.
- ⁸⁶ Лейбович О. Указ. соч. С. 8–9.
- ⁸⁷ Монтефиоре С. Сталин. Двор красного монарха. М., 2005. С. 158.
- ⁸⁸ Грегори П. Указ. соч. С. 340.
- ⁸⁹ Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М., 2008.
- ⁹⁰ Дюллен С. Сталин и его дипломаты: Советский Союз и Европа, 1930–1939 гг. М., 2009.
- ⁹¹ Грегори П. Указ. соч. С. 32, 91–99.
- ⁹² Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография. М., 2009.
- ⁹³ Аномалия // Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 61.